

## Корни будущего

**Л**егко пророчествовать о прошлом, трудно о будущем. Говорят, многие пророческие книги написаны задним числом. И я буду пророчествовать задним числом — пророчествовать то, что видно уже сегодня. А как эти потоки схлестнутся друг с другом, что когда возьмет верх, надолго ли — заранее не скажешь. Тут многое зависит от случая (например, ранняя смерть Петра II) и от свободной воли личности (Петра I). А кто знает, где Аннушка разлила подсолнечное масло, чтобы поскользнулся Берлиоз? Кто знает душу будущего героя и антигероя истории?

Есть законы нарастания (населения, например) и законы повторения (я об этом еще буду говорить). Но проявляются эти законы через людей. Нет ничего нового под луной и все — новое. Неповторимо каждое утро, и каждый цветок распускается один-единственный раз. Хотя вечно повторяются весна и осень.

Я думаю, что не случайно все мировые религии возникли примерно в одну эпоху (между буддизмом и исламом — всего тысяча лет). Выход за рамки племенных вер был к этому времени подготовлен. Призыв к единому образу вечности был поддержан имперской властью. Но сам характер призыва — неповторимо личный. Характер Гаутамы, Иисуса, Мохаммеда.

Где-то встречаются случай и личность — вдохновенная Богом, вдохновенная дьяволом (а иногда — целым клубком ангельских и демонических веяний). Без обиды Темучина не было бы походов Чингисхана. Без обиды Владимира Ульянова за казненного брата не было бы Ленина. Без мальчишек, дразнивших Сосо Джугашвили шлюхиным сыном, не сложился бы характер Сталина.

Мне возражали, что монголам нужны были пастбища, что шесть лет подряд томила засуха и гибли от бескормицы стада

Но большие засухи случались каждый век, а Чингисхан один. И началось с обиды Темучина: напали соседи на беззащитную стоянку, разграбили, украли жену. Темучин отбил жену, но она уже побывала в чужих руках, и кто ее первенец, чей он сын — никто не знал. С этих пор Темучин затаил свою великую обиду и великую месть — китайской державе, стравливавшей племя с племенем, чтобы не собрались кочевники в одну силу и не прорвали Великую стену.

Обида сделала Темучина Чингисханом. Я спрашивал Л.Н.Гумилева, чем ему нравится Чингисхан. Лев Николаевич ответил: Чингисхан не любил стукачей. В походах Чингисхана был свой дикий пафос. В них кипела и изливалась ненависть варваров к коварству «вавилонской блудницы», к интригам и проискам великих цивилизаций.

С этих пор обида и ненависть много раз рождали силу, перекраивавшую картину мира. Остановить эту волну редко кому удавалось. Но энергия ненависти довлеет дневи. Волна падает, и любовь продолжает свое тихое дело. Потомки Чингисхана, овладев Китаем, стали буддистами; овладев Ираном, они стали мусульманами. Держава Чингисхана распалась, держава Тимура распалась, а границы между исламом и восточными религиями мало изменились. Мировые цивилизации подобны дереву: буря ломала несколько ветвей, но корни глубоко ушли в почву, и ствол не поддавался мечам. Жизнь религиозных миров долговечнее, чем жизнь империй; коалиции культур, связанных общими основами религии, наверняка нас переживут. Но я не думаю, что они неизменны. И пока что ни одна религия не сумела ответить на вызов нашего времени — так, как время этого требует. Религия спорит с религией, и ни одна не способна остановить бесов раздора. Напротив, сплошь и рядом бесы пользуются религией как дубинкой.

В странах, прошедших через Просвещение, религиозный фанатизм отступил, потерял первое место — но это место не осталось пусто. Вырос фанатизм социальный, национальный. Опасаясь социальных взрывов, влиятельные круги поддерживали национализм. К началу XX в. над Европой нависли тучи обиды и ненависти. Предвоенная тишина была покровом, сброшенным на кипение страстей.

*И всем священный меч войны  
Сверкает в неизбежных тучах.*

*Блок*

Война могла начаться в 1906-м, 1911 г. (из-за колониальных споров, подогретых германской спесью, французской обидой и жадной реванша). Она началась из-за рядового террористического акта, как лавина может сорваться от одного брошенного камня. И раскрылся ящик Пандоры.

«Я принадлежу к тем, кто смертельно ранен двумя великими бедствиями, — мировыми войнами и единоличной тиранией, — писал узник Владимирской тюрьмы Даниил Андреев. — Никакие усилия разума, никакое воображение или интуиция не способны нарисовать опасностей грядущего, которые не были бы связаны, так или иначе, с одной из двух основных: с опасностью физического уничтожения человечества вследствие войны — и опасностью гибели духовной вследствие абсолютной всемирной тирании». Андреев еще не догадывался о третьей великой опасности: об экологическом кризисе. Но в своем чувстве рокового времени великий духовидец был прав.

Мы привыкли начинать это время с 1917 г. На самом деле Новое время, начавшееся где-то на рубежах XV и XVI вв., окончилось в 1914 г. Во всех странах, кроме коммунистических, это азбучная школьная истина. С 1914 г. мы живем в «посленовое время». В 1914 г. возникло что-то, чего раньше не было. Из этого «чего-то» Ленин вылепил свое государство, Гитлер — свое, и мы до сих пор живем на той же самой почве. Меняются слова (коммунизм, нацизм, фундаментализм), а суть остается. Сумеет ли XXI век преодолеть кризис?

Муссолини называл себя учеником Ленина, а Гитлер многое взял у Муссолини. Но наивно объяснять сходные черты заимствованием. Влияние, пример только помогают оформить то, что просится к жизни. В Китае созрела новая революционная тирания, и русский пример подтолкнул роды. В Индии зрело что-то другое, и Ганди пошел за Толстым, а не за Лениным. Ленин и Сталин, Муссолини и Гитлер лепили из одного материала, созданного мировой войной. Из материала ненависти. От этого и сходство того, что они вылепили.

Прежние войны вели профессиональные армии, сохранявшие что-то от рыцарских правил игры. Народы в целом не воевали. Возвращаясь к родным очагам, солдаты всасывались мирной средой, растворялись в ней. Мир в эпоху Толстого сильнее войны. Мировая война все это перевернула. Она загнала в окопы слишком много мужчин — добрую половину во всех великих цивилизованных странах. И цивилизация начала расползаться, как старая кожа змеи, и вылезла жестокость. Жестокость вошла в искусство, даже в религию (об этом хорошо

написал Г.П.Федотов в эссе «Ессе homo»). Жестокость надула паруса идеологий классовой и расовой борьбы...

Само понятие борьбы изменилось. Когда Маркс говорит о диктатуре, он видит перед своими глазами римского диктатора времен республики. Диктатор может отдать приказ казнить каждого десятого в дрогнувшем войске, но он не станет поджигать свою столицу, как Нерон, топить новгородцев в Волхове, как Иван Грозный. У диктатора нет вкуса к жестокости. Он жесток по необходимости. Война развязала вкус к жестокости, и он окрасил XX век. Даже в искусстве стран, не знавших всех ужасов войны.

В воюющих государствах все газеты объединились в травле врага. Первая мировая война — неслыханная прежде четырехлетняя ненависти. Пастернак обронил замечательную фразу: 1913-й год был последний, когда легче было любить, чем ненавидеть. Ненавидеть, ловить шпионов, искать измену. Оставалось научиться поворачивать ненависть из стороны в сторону: с немца на буржуя, а потом, когда буржуев повыбили, снова на немца. Или на американца. Это сумели сделать большевики.

Война создала и материальный костяк для государства, основанного на ненависти: управляемую экономику, подчиненную единой воле. Военная экономика Германии была образцом, на который несколько раз ссылался Ленин. По этому образцу он строил свой социализм.

Нормальный, привычный, разумный мир был опрокинут. Непредвиденное грозило со всех сторон. В сознании массы людей, сбитых с толку, перекатывались волны злобы, страха и отчаяния. Я не буду разбирать причины, по которым в некоторых странах эти волны понемногу вошли в берега, а в других — переклестнули через здравый смысл (национальные особенности — слишком большая тема. Ее нельзя анализировать мимоходом). Там, где растерянность была особенно невыносимой, масса ухватилась за вождя. Вождь знал, как надо. Он действительно знал что-то, чувствовал силу, которая его вела: к призраку величия — и к срыву в пропасть.

С 1914 г. и до сего дня идет лавинообразное нарастание проблем, неразрешимых без солидарности, и страстей, рвущих солидарность на части, разрывающих на куски даже сложившиеся национальные государства. Показалось, что клин вышибают клином, что мировой порядок можно создать силой, на волне тех страстей, разбухших первой мировой войной, ко-

которые достигли своего пика во второй войне. Но вторая мировая война закончилась атомной бомбой.

Уже в 1914-1918 гг. сила военных машин и масштабы разрушений вышли за рамки традиционных национальных войн. Национальный суверенитет, способный раскрыть ворота этого ада, встал под вопрос. Появились проекты Пан-Европы, создана была Лига наций. Но из проектов ничего не вышло, Лига оказалась бессильной. Реальнее показалась ставка на империю. И две империи столкнулись в борьбе за власть над миром. «Внутренний пафос новейшей истории — в стихийном стремлении ко всемирному, — писал Андреев. — Интернациональностью своей доктрины и планетарным размахом отличалось самое мощное движение первой половины нашего столетия. Ахиллесовой пятой движений, ему противоположавшихся — расизм, национал-социализм, — была их узкая националистичность, — точнее — узкорасовые или национальные границы тех блаженных зон, химерою которых они прельщали и завораживали. Но к мировому владычеству стремились и они, и притом с колоссальной энергией... На что указывает это знамение времени? Не на то ли, что всемирность, перестав быть абстрактной идеей, сделалась всеобщей потребностью? Не на то ли, наконец, что мир стал неделим и тесен, как никогда? Не на то ли, наконец, что решение всех насущных проблем может быть коренным и прочным лишь при условии всемирных масштабов этого решения?»

Атомная бомба запретила имперское решение. Этого тупо не понимал Сталин, стараясь усилить и расширить империю, потерявшую смысл. Этого не понимал Мао. Но простой, почти биологический, спинномозговой здравый смысл дал понять Хрущеву, что военного выхода нет, и карибский кризис кончился миром. Началось мирное соревнование. Империя, не приспособленная к миру, неизбежно должна была проиграть. Утопия, прикрывавшая собой советскую военную машину, была обречена. Она держалась по инерции и рухнула, как только кончился застой и начались попытки реформ. Нельзя починить слишком ветхое платье: оно рвется повсюду. Перестроить изжившую свой смысл империю на рациональных началах никому не удавалось. Г.П.Федотов это понял в конце 40-х, я — в 60-е. Некоторые этого до сих пор не понимают.

Империи кончились. Все империи. Следовательно, и наша. (Все люди смертны, Кай человек...) Однако глобальные задачи остались. И для решения их остается путь добровольной фе-

дерации, для которого нужны не страсти, а разум и вера. Напряжение разума и веры, способное пересилить страсти.

Между тем война, начавшаяся в 1914 г., до сих пор не кончилась. Страсти, сдавленные в спорах ядерных держав, кипят в малых войнах и в уличном терроре. Вся мощь Америки не может уберечь ее граждан от взрывов обыкновенных, неядерных бомб и от массового буйства. Характер террора изменился — в сторону еще большей жестокости. Каляев послал письмо супруге великого князя Сергея Александровича, чтобы она не садилась в коляску к мужу, приговоренному партией социалистов-революционеров. Великая княгиня его не послушалась и еще взяла с собой двух племянников. Увидев женщину и детей, «деликатный убийца» (как его назвал Камю) положил бомбу обратно в сумку и дождался следующего случая, когда великий князь ехал один. Это не было чудачеством: боевая группа действия Каляева одобрила. Какая пропасть между началом века и современными террористами!

Еще более жестокими стали малые войны. Садизм хорватов в годы второй мировой войны и садизм сербов в Боснии только во сне мог бы себе представить европеец «прекрасной эпохи». Где-то там, в Турции, — другое дело: это объяснялось средневековым варварством, азиатским варварством, мусульманским варварством. Но в Боснии царит христианское варварство. Христиане насилуют мусульманок. Христиане убивают детей. Все стереотипы культуры, к которым приучил нас «Дневник писателя» Достоевского, вывернуты наизнанку и брошены под ноги толпы.

После громких международных и немецких трибуналов, после всех обличений фашизма — новые взрывы расизма в благополучной Германии, зверство толпы в стране, где люди сыты, одеты, обуты и проводят отпуск на море. Что же говорить о голодных двух третях человечества! Там экстремизм перестал быть уделом меньшинства, перестал вызывать массовые протесты. Он сам стал массовым; он захватывает всю массу, большую часть массы, и заставляет пугливо отступать перед собой тех, кто не захвачен безумием.

Я принимал участие в конференции общества, созданного в 30-е годы для морального перевооружения человечества. Я встречал там прекрасных людей; но как их мало! Как неохотно прислушиваются народы к их призывам! Единственный крупный успех общества — франко-германское сближение в конце 40-х годов. Но этот процесс поддерживал общий страх перед сталинской империей. Что заменит этот страх?

Призывы прощать врагов слышны уже 2000 лет. Они входили в одно ухо и выходили из другого. Что сегодня может победить тупой эгоизм, остановить дух раздора? Разве только состояние биосферы. Биосфера не резиновая, она не в состоянии вместить в себя рост экономики, хотя бы самой чистой, и рост населения. Или прекратится рост, или катастрофически деградирует биосфера (а с ней мы все). Только солидарное человечество способно перейти от цивилизации физического роста, разрушающего естественную среду, к цивилизации духовного роста, вписанной в природу и оберегающей природу, как саму себя. Это необходимо — и почти невозможно. Необходим гигантский духовный и нравственный скачок. Дух войны, сопровождавший всю историю человечества, должен уступить духу любви. Дело не только в разумных планах. Разумные планы не помогли ни в Карабахе, ни в Югославии, нигде, где господствуют страсти. Задачу нельзя решить одним умом, одними правительственными решениями. Нужен сдвиг в поведении миллиардов людей. Нужен духовный порыв. Помогут ли здесь одряхлевшие религии?

Сегодня они позволяют использовать себя в национальных спорах или вспыхивают коптящим пламенем фанатизма. Возникшие в древности, в изолированных империях, вселенские по духу религии слились с местными культурами и сегодня противостоят друг другу, как племя — племени. Сумеют ли они найти общий язык?

Даниил Андреев верил в Розу мира, в унию всех христианских церквей и тесный союз христианства со всеми этическими религиями. Такую организацию трудно себе представить. Но возможен диалог, прислушивание друг к другу и дружелюбное сотрудничество ради спасения жизни на Земле.

До полосы катастроф остались считанные годы. Сумеет ли мы их использовать? Если цивилизация не сможет преобразиться, она рухнет и погребет человечество под своими обломками. Солидарность в духе — условие, без которого уже сегодня рушатся попытки разумной политической, социальной и экономической солидарности. Сумеет ли мы подняться над своей духовной вялостью и разобщенностью?

Андреев рассчитывал на энергию отчаяния. Скорее всего так думает и Провидение и станет подталкивать человечество к солидарности железной клюкой катастроф.

*Били вас палками, розгами, кнутьями.  
Будете биты железными прутьями...*

*Некрасов*

А между тем духовное единство так просто!

Есть старый анекдот о слушателе, испуганно спросившем лектора: «Вы сказали, что солнце погаснет через семь миллионов лет? — Нет, через семь миллиардов», — ответил лектор. Слушатель успокоился. Этого человека беспокоило, что будет через семь млн. лет. А среднего человека... Нет, о том, что будет через семь лет, он иногда задумывается. Но через семьдесят! Серьезно о таких вещах не думают. Разве только научные фантасты, сочиняя свои романы. А между тем едва ли не главное в подходе к экологии — это дальновзоркость. Есть экология сегодняшнего дня (верхняя часть айсберга) и экология завтрашнего дня. В будущем, где спрятано гораздо больше, чем  $7/8$  льда.

Сегодняшняя экология — это сумма проектов, требующих каких-то денег, известных усилий и какого-то уровня сознательности от населения (примерно такого же, как правила уличного движения). В развитых странах все это более или менее достигнуто. Можно спокойно оставаться со своей погоней за новыми вещами и при своем нынешнем (очень низком) духовном уровне.

Другое дело — завтрашний день (где-то в XXI веке). Он загородит дорогу экономическому росту, потребует остановить рост населения. Рост благосостояния в физических величинах станет невозможным. Останется место только для духовного роста. Устроит ли это нынешнее большинство? Согласится ли оно с ограничениями добровольно?

Мне приходилось слышать интеллигентов, которые нашли выход в религиозном фундаментализме. Фундаменталисты отказываются от излишеств, живут просто, по Писанию. Вот, казалось, и решение экологической проблемы. Но упущена деталь: Писание запрещает противозачаточные средства. Двадцать детей, живущих впроголодь, давят на биосферу не меньше двух, едящих досыта. При нынешних темпах роста населения (за сто лет — втрое) этого одного достаточно, чтобы вырубить все леса и задыхаться от недостатка кислорода. Или пустить в ход биологические регуляторы вроде СПИДа.

Вторая деталь: рост числа фундаменталистов происходит большею частью в странах, куда современная интеллектуальная культура еще слабо проникла, и в тех кругах, где она вовсе



отсутствует. Понимание глобальных проблем в массах верующих очень слабо развито. Сумеет ли развитое меньшинство проводить разумные решения, опираясь на волю большинства?

Я могу себе представить, что в некоторых странах с очень крепкой традицией политической свободы парламенты удержатся. Но Китай идет по другому пути, практичному для перенаселенных южных стран, и крах советского коммунизма не смутил китайских руководителей. Можно представить себе довольно большую группу русских интеллигентов, ушедших в созерцание, в медитацию, в молитву и очень сдержанных в потреблении (не привыкать стать). Но ведь такой поворот требуется не от группы, не от слоя, а от целого народа. И не от одного народа, а от всех.

Экология завтрашнего дня — это проблема духовного поля, в котором перегорят искушение сладкой жизни на Западе и верность букве предания там, где она сегодня сильна. Духовное поле может быть создано только усилием творческого меньшинства. Но сила этого поля должна быть не меньше, чем та, что преобразила Римскую империю. Сумеет ли XXI в. выполнить эту задачу? И не так поверхностно, как христианство X в. — заменив подлинное избрание Христа обрядом крещения?

Я ставлю вопросы. Ответит на них будущее. Мне ясно одно: экологический кризис — это духовный и религиозный кризис. Одними техническими проектами, без духовного преображения, выход не удастся пробить. Есть что-то общее между положением современного мира и Римской империей накануне христианства. Достигнуто единство цивилизации, нет единства культуры. Создана единая система администрации, дорог, экономических связей, языка, наконец... Но дальше Рим не смог пойти. У него не было духовного превосходства. Началась экспансия восточных учений, и она занесла в вечный город христианство.

Сейчас нет и не может быть единой мировой империи, способной внешне оформить новую религию. Более того. Новая великая религия внутренне невозможна. Мировые религии совершили прорыв в предельную глубину, где личность освобождается от своих племенных связей и может приобрести новый образ и подобие. Путь в глубину уже проложен, несколько параллельных путей, но в ту же предельную глубину. Большая глубина, способная перекрыть глубины христианской или буддийской мистики, невозможна. Достигнув нуля (вечности), нельзя шагнуть дальше. Можно только понять, что

глубины великих религий равноценны, что они в пределе тождественны.

Европейский концерт наций основан на единстве духовного наследия. Этого зримого единства нет у монотеистических духовных миров и культур Индии или Китая. Есть две монотеистические коалиции культур и две другие, основанные на безымянном переживании сверхценности. Можно ли превратить незримое духовное единство в зримое, вскрыть внутреннее тождество именных и безымянных форм религии?

Древние евреи очистили имя «Бог» от профанических ассоциаций и сделали именем непостижимой тайны целостной вечности. На индийском и Дальнем Востоке духовная элита нашла другой путь: называть непостижимое непостижимым, описывать глубочайший мистический опыт чисто отрицательно: не это, не это! Ты еси то! И т.п. Однако народ всюду почитает священное, давая ему имя и образ. И в Индии только немногие следуют упанишадам, большинство почитает аватары (воплощения) Вишну или лиламурти (облики игры) Шивы. И в буддийских странах миряне почитают Будду Шакьямуни, Будду Аматабху, Будду Майтрейю и т.д. С другой стороны, в монотеистических традициях были прорывы в безымянную глубину, напоминающие восточные учения. Разница не безусловна, возможности диалога есть. Но преодолеть барьер непонимания между буддизмом и монотеизмом чрезвычайно трудно. Европейские ученые сделали очень много для постижения ислама, и сегодня некоторые богословы признают великих суфиев святыми, обретавшимися вне зримой церкви. В России Владимир Соловьев шаг за шагом преодолевал предубеждения против католицизма, иудаизма, ислама. На этом он, однако, остановился. Буддизм представлялся ему мертвою пустыней.

Восток здесь гораздо гибче. Буддисты без нарушения грамматики своего духовного языка могут называть Христа «Буддой Запада». Рамакришна пережил в своем внутреннем опыте отождествление с Буддой и Христом и признал их равными. Европейский язык не поворачивается сказать: «Будда — Христос Индии». И дело не в догматах, а в духе культуры, который я, к примеру, чувствую, не принадлежа ни к какому исповеданию.

Уникальность Христа вошла в плоть христианской культуры и может быть по-разному интерпретирована, но вряд ли устранима.

До какой степени так чувствовал сам Иисус Христос? В Евангелии от Луки (12:10) запечатлены его слова: «Всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет; а кто ска-

жет хулу на Святого Духа, тому не простится». Между тем Святой Дух веет, где хочет, и его не останавливают границы вероисповеданий. Есть различия, которые никогда не исчезнут. Но они и не должны исчезнуть. Внутренний мир человека европейской культуры тяготеет к другому образу вечности, чем внутренний мир человека индийской культуры. Это так и останется так. Обречено исчезнуть другое: оценка другого как худшего, низшего, неполноценного.

На сегодняшний день Европа дает образец концерта национальных культур — при догматической жесткости вероисповеданий, — оттесненных, впрочем, с авансцены. А индийский и Дальний Восток дают образец концерта духовных миров, концерта религиозных учений, дополняющих друг друга в единой цивилизации Индии или Японии. Таким образом, глобальный диалог имеет два инициативных центра, два образца: европейский и индийско-дальневосточный. В России можно почувствовать, что импульсы с Запада и с Востока складываются; так в моем развитии складывались Сент-Экзюпери и Кришнамурти. Я думаю, это не единственный пример общего движения к целостному разуму.

Наряду с центрами развития диалога есть и центры торжества: фундаментализм ислама и, возможно, фундаментализм православия. Впрочем, фундаменталистские или, если говорить точнее, квазиинтеграционные течения есть всюду. Идет борьба между духом диалога и духом раздора, опирающегося на различия классов, наций, текстов. Важно не то, какая буква, а есть или нет первенства буквы над единым духом любви.

Что можно сделать, чтобы обезоружить духов раздора?

Первое, что мне хочется предложить, — это понимание догмы как иконы. Русскому читателю известно определение иконы, данное Трубецким: умозрение в красках. Но если икона, писанная кистью, есть догматическое богословие в красках, то можно взглянуть и на догму, принятую Вселенским собором, как на икону: словесную икону, интеллектуальную икону. Икона свята, но не единственна как образ Бога. Икона — окно, через которое просвечивает Божье (как свет дня сквозь витраж). Может быть множество витражей — свет один.

С этим пониманием перекликается древняя критика буквы (только дух животворит) и слова св. Силуана: «То, что написано Святым Духом, можно прочесть только Святым Духом».

В истории монотеизма было несколько прорывов в безымянную глубину. Первый из них — Книга Иова. Иов опрокидывает

все тогдашнее богословие. И Бог заговорил с ним, а не с друзьями его, богословами. И заговорил не богословским языком. Он *ничего* не ответил на вопросы Иова. Он оставил человека со всеми его открытыми вопросами. Он передал ему только свое божественное чувство целостности мира, в котором утонуло страдание, как камень в океане. И с этим цельным чувством, с переживанием сверхценности, Иов начал новую жизнь.

Второй прорыв — в мистике средних веков. Не зная ничего о буддизме, об индуизме, Мейстер Экхарт, комментируя Евангелие, открывает заново язык безымянного переживания. Исследователи находили у Экхарта целые абзацы, словно спланные у Нагарджуны или Шанкары.

Третий прорыв, на который мне хочется указать, — символ веры Достоевского. «... Если б кто мне доказал, — писал Достоевский Фонвизиной, — что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом вне истины, нежели с истиной» (П.с.с., т.28, кн.1, с.176). Здесь снова отброшена не только философия, но и богословие. Остался Христос как живой образ — и как переживание, как непосредственная встреча с живым Христом. В моей книге «Открытость бездне» я подчеркнул первое (ценностное превосходство образа над понятием; живое поведение личности как оценка мировоззрения мимо всех доказательств). Однако второе (непосредственная встреча с неведомым, имя которого Христос) важнее. И именно это переживание — суть, стоящая за образом, безразлично — фигуративным или абстрактным. Предпочтение смысловой паузе у Мейстера Экхарта или восточных мистиков становится, по моему, в один ряд с предпочтением неповторимому личному образу у Достоевского и не может рассматриваться сверху вниз.

В одной из статей, посвященных дзэн, я нашел цитату из Моцарта. Его спросили, что важнее всего в музыке; он ответил одним словом: паузы. Реджинальд Орас Блайс считал музыку Баха и Моцарта «дзэнской» (наряду с византийской иконой — «неподвижным образом неизменной вечности»). Это можно считать свидетельством парадоксального личного вкуса, но в моем восприятии Рублев и Бах тоже стоят рядом. Музыка, искусство абстрактное и основанное на паузах, на движении звуков вокруг безмолвия, не уступает фигуративному искусству в передаче последних глубин. Между Бахом и Рублевым нет спора. На языке дзэн, тяготеющем к комическому, гротескному, к предельному снижению роли знака, символа, это понимание выражено в притче: «Не надо смешивать луну с пальцем, указывающим

на луну». «Палец», символ, играет огромную роль в культуре. Духовную «луну» не так легко разглядеть. И все же палец есть палец, а не сама луна.

Насколько важны сегодня все эти проблемы? Я не говорю о моих решениях — они могут быть отброшены, но сами вопросы! Я думаю, что они выйдут на первое место, когда экологический кризис возьмет за горло все страны, все культуры, весь мир и окажется необходимым думать за всю биосферу, оказавшуюся на пороге гибели. Духовное единство не требует отказа от своих предпочтений, от своих святых символов. Только понимания, что свет, бьющий сквозь витражи, меняет свою окраску в стеклышках, созданных людьми; что по своей божественной природе это один и тот же свет.

*Бывает свет как море. Море света,  
Открытый, полный светом небосвод.*

*И в нем, смешав все даты и приметы,  
Душа в простор незнаемый плывет.*

*И мы лишь этим погруженьем живы.*

*Ты вынырнуть из света не спеши.*

*Ведь жизнь и есть вселенские разливы*

*И светопроницаемость души.*

3. Миркина

Свет обычно сопоставляется с разумом. «Свет разума». «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» К несчастью, разум может быть одним из источников тьмы. Прямолинейные логические выводы из любого принципа ведут к абсурду. Зажегшись одной идеей, люди не слышат других, вступают с ними в отчаянную борьбу и открывают дорогу раздору. В истории действует множество законов, и постоянно происходит столкновение законов: один закон велит, другой запрещает. Один толкает вперед, другой останавливает или ведет в сторону. Равнодействующая истины складывается из векторов, число которых намного превосходит возможности человеческого ума. И ум восстает против ума, идея против идеи.

Историография подменяет историю какой-то одной моделью: упадок, прогресс, вечно повторяющийся цикл. Линия, ведущая вниз (золотой век, серебряный век, медный век, железный век), линия, ведущая вверх (прогресс). Круг (за каждым расцветом — упадок). Расширяющаяся спираль (по Ленину). Сужающаяся спираль со светопреставлением в конце. Наконец — броуновс-

кое движение, бестолковое столкновение случайностей («Стакан воды» Скриба)... Трудность понимания и предвидения в том, что ни одну из этих моделей нельзя исключить. Каждая по-своему верна. При взгляде в упор господствуют случайность и произвол. В масштабах тысячелетий бросаются в глаза накопляющиеся изменения. Однако линия, изображающая эти изменения, не подымается непрерывно вверх. Между Архимедом и Галилеем почему-то оказываются средние века. Создатель концепции прогресса Кондорсе считал их темной, бессмысленной ямой. Романтики эту идею опровергли и нашли в средних веках свой смысл, свой пафос. Я заметил, что «классические» и «средневековые» эпохи закономерно чередуются и в устойчивых цивилизациях можно проследить маятниковые движения: античность — отрицание античности — Возрождение...

Перечислим сперва накопляющиеся процессы: рационализация отношений с природой, дифференциация культуры, социальная дифференциация, рост населения, рост производительных сил. Эти процессы расшатывают сложившееся духовное единство племени, вероисповедания и тождество человека с самим собой, его уверенность в смысле жизни. Выходом из кризиса оказывается переоценка ценностей, возрождение чувства целого, создание новых мирозозерцаний, воссоединяющих человека с собственной глубиной и людей — друг с другом.

Противоречие заложено в самом слове «развитие». Когда Карамзин ввел его в русский язык, Шишков возразил, что на русское ухо оно ложится через ассоциацию: взяли веревочку и расщепляют, «развивают» ее по волоску. Это очень верное понимание сущности развития: оно непременно связано с дифференциацией. Любое племя обладает некоей целостностью жизни, в которой не определишь, где экономика, а где религия: прежде чем идти на охоту, непременно надо совершить обряд. Особого специалиста обряда еще нет. Бушменский ведун еще не выделен, не стал шаманом, не освобожден от общего труда... Дальше мы находим все более дифференцированное общество. Но дифференциация несет угрозу распада. Развитие не хорошо (прогрессивно) и не плохо (регрессивно), оно опасно — и неизбежно. Сплошь и рядом развитие приводит к такому разрушению социальной и духовной целостности, что важнейшей задачей становится возрождение единства, поиски объединяющих идей, объединяющих символов.

Примитивный человек в чем-то умнее нас. Он всю свою культуру держит в голове, воспринимает ее в целом и чувствует как

целое. Вспомним разговор Епанчиных о князе Мышкине: у Мышкина есть *главный ум*, он может быть неумен в каких-то подробностях, но главным умом всех превосходит. Это — преимущество «идиота» (юродивого) над всезнайкой, примитива перед изощренной цивилизацией. Главное в культуре — то, что дает смысл жизни. Когда культура проста, «неразвита», то в ней как-то выражено, может быть очень наивно, то, что придает жизни смысл, и вся целостность культуры проникнута этим смыслом. Главное еще не вынесено из плоти культуры, но разлито по ней в целом. Жизнь, пропитанная обрядами, сама себя освящает.

С этого уровня человечество постепенно сошло и вступило в полосу кризисов. За эпохой бурного развития непременно наступает эпоха кризиса, «упадка нравов» и поисков главного, потерянного среди частных. Опираясь на вновь найденное, заново выраженное главное, культура восстанавливает свое единство. Иногда эти два процесса — развитие и критика развития — идут рядом. В России полтора столетия спорят западники, убежденные, что Россия слишком медленно и неполно, односторонне развивается — и славянофилы, или почвенники, которые считают, что Россия очень быстро разрушается, что в ней разрушается что-то главное и культура теряет свой «главный ум». Эти направления не столько чередуются (как на Западе), сколько идут рядом. Впрочем, удельный вес направления все же меняется, и чередуются акценты, чередуются выходы на авансцену и отступления в тень истории. В 20-е и 30-е годы романтическая критика прогресса была у нас загнана в подполье, и моя попытка понять философию Достоевского была официально осуждена. Сейчас сознание кризиса стало модой и опошлено, как всякая мода.

Развитие вообще кризисно, неотделимо от чувства кризиса. Однако можно выделить эпохи великих кризисов. Первым таким великим кризисом было «осевое время» — время разрушения обособленных культур и создания мировых империй. Империи сначала грубо перемешивали племена, разрушали племенную солидарность, не создавая новой, но постепенно на вызов духовной пустоты родился ответ — мировые религии. Они дали многим народам одну Главную Книгу. Главная Книга — это Библия, это Коран, это буддийская Трипитака, это Бхагаватгита... И можно было ничего, кроме этой Книги, не читать, не разбираться в спорах между философами. В Библии, в Коране заключалось все главное, придававшее жизни смысл. И на основании Главной Книги строилась новая иерархия культуры.

Эта иерархия была расшатана Возрождением и Реформацией. Западная культура никак не могла сложиться в империю, где навеки истинная власть стоит на защите навеки истинной веры. Споры между папами и императорами позволили укрепить вольным городам, а потом национальным государствам. Разнородность основ культуры, сложившейся из еврейской религии, греческой философии и римского права, несла в себе возможность распада. Философия освободилась от роли служанки богословия и стала самостоятельной госпожой. Возродился античный плюрализм — и развитие стремительно шагнуло вперед, разрушая средневековое равновесие. За несколько веков западная цивилизация, переходя от кризиса к кризису, распространилась на весь земной шар, стала мировой. И впервые возник мировой кризис культуры, втянувший в свои водовороты и Россию, и мир ислама, и Индию, и Китай.

Периодические духовные кризисы сопровождают все Новое время. Кризис Возрождения породил барокко; кризис позитивизма — декаданс. Случались и попятные социальные процессы, например рефеодализация Италии. Однако застой охватывал только отдельные страны. То, что мы называем прогрессом, продолжалось на северо-западе Европы, и движение в конце концов подхватывало всех. В итоге производительные силы обнаружили всю свою грозную разрушительную мощь. Впервые встал вопрос о способности биосферы выносить человечество, даже без термоядерной войны. Впервые выросла задача глобальной экологической солидарности и глобальной системы защиты от агрессивных режимов, способных пустить в ход атомную бомбу. Но эта задача, сознаваемая космополитами, сталкивается с защитной реакцией племенного и конфессионального сознания.

Есть два аспекта проблемы. Первый — то, что некоторые ветви мировой религиозной традиции стали национальными: иногда *de jure* (армяно-грегорианская церковь), чаще *de facto*. Догматически православие остается вселенским, но в народном сознании Христос становится русским богом, православие — русской верой. В Польше, втиснутой между православной Россией и протестантской Пруссией, католицизм в последние века приобрел черты национальной религии (это сказалось и в практике польской Солидарности). Шиизм — нечто вроде национальной религии Ирана (хотя шииты есть и среди арабов). Второй аспект — то, что мировые религии только претендуют на всемирность. Возникнув в имперских рамках (или создав свою



империю, как ислам), они имеют характер духовных империй. Их догматы — своего рода пограничная стража. Тот, кто за чертой (еретик, иноверец), может оказаться вне круговой поруки добра. В Ливане, в Индии, отчасти и на Кавказе религия придает ненависти свое знамя.

Здесь вступают в игру иррациональные силы истории. Если дух свободен от зла, то его не смущает различие догматов и обрядов. Существует средневековая шиитская легенда о «скрытом имаме», который появится в конце веков и так истолкует все прежние пророчества, что исчезнет вражда между «народами Книги». О внутреннем единстве великих религий учили многие суфии. Есть христианский экуменизм, и делаются попытки навести мосты между христианством и индуизмом, христианством и исламом. Однако все эти начинания сталкиваются с традиционализмом (стремлением сохранить свою замкнутость, свой народный обычай) и с фундаментализмом.

Слово «фундаментализм» недостаточно точно. Оно перенесено с ограниченных религиозных групп в Соединенных Штатах на массовые революционные движения в странах ислама и в этом втором смысле приобрело совершенно новый смысл: революционного отрицания испорченной традиции во имя древней простоты. Отрицается не только современность, средневековая традиция тоже подлежит ломке.

Фундаменталистская революция может захватить народ, но источник ее — потрясенное сознание интеллигента. Фундаментализм протестует против нарушения пропорций культуры, против превращения разума из слуги целостного человеческого духа в господина, против затерянности в частностях, против деградации жизни в «скучную историю» чеховского профессора. Это реальная проблема, существующая достаточно давно (пожалуй, начиная с изобретения письменности), но современность ее до крайности обострила. И какую-то часть потрясенных интеллигентов начинает привлекать к себе варварство, «светлое прошлое», заменившее коммунистическое «светлое будущее».

Фундаменталисты — прямые наследники библейских пророков, клеймивших «вавилонскую блудницу». Они лишены варварской наивности, но наивность крестьянина и кочевника VII-VIII вв. становится их идеалом (как простота пролетария для революционных марксистов). Фундаментализм раскалывает интеллигенцию. Рациональное осознание мировых задач в духе Сахарова отодвигается в сторону романтическим бегством от разума. Здесь опять можно вспомнить революционных маркси-

стов, слепо веривших Вождю и задним числом находивших в его решениях таинственную Диалектику. Революционные марксисты и революционные фундаменталисты сходятся в ненависти к Западу, к «чрезмерной» свободе — и ставят своей целью более интегрированное, менее плюралистическое общество. Роберт Белла ставит рядом романтический национализм и революционный социализм<sup>1</sup>. Можно прибавить к этой паре и фундаментализм ислама.

Есть что-то общее во всех антизападных массовых движениях, и хочется свести их к одному типу. Иногда общим словом становится «фашизм» и говорят о коммунистическом фашизме. Иногда все зло связывают со словом «социализм» и подчеркивают, что Гитлер являлся национал-социалистом, в этом, дескать, корень его преступлений против человечества. Я попытался показать, что можно рассматривать и коммунизм и нацизм как разновидности фундаментализма. Тогда теряют свою парадоксальность марксистский догматизм, ортодоксальность, охота за ведьмами, расстрелы за неверие и т.п. Подчеркивается психологическая основа внешне противоположных учений: неспособность находить внутреннее равновесие и внутреннюю опору в непрерывном процессе перемен.

При обсуждении моего доклада на симпозиуме «Корни будущего» в Ферми 10 апреля 1992 г. профессор Северино заметил, что я злоупотребляю термином «фундаментализм», и предложил пользоваться другим словом — «интеграционизм». Я не могу с этим согласиться. Есть истинный интеграционизм — стремление к равновесию культуры, не разрушая различий, а уравнивая их (в системе Конфуция роль интегратора играла музыка; в христианском мире — литургия). Надо найти способ отделить этот доброкачественный интеграционизм от злокачественного, доброкачественный фундаментализм (стремление жить по Писанию) от злокачественного, доброкачественный социализм европейского стиля от ленинской диктатуры. После долгих размышлений я остановился на термине «агрессивный редуccionизм». Общая черта коммунизма, нацизма и фундаментализма Хомейни — агрессивное насильственное упрощение жизни, втискивание развития в прокрустово ложе мифа. Какого именно мифа — вопрос второстепенный. Мы привыкли к уточнениям, основанным на мифе о рациональном будущем, и чуждый нам фундаментализм ислама воспринимаем как социалистический утопизм наизнанку. Однако можно поменять местами термины сравнения и говорить о фундаментализме наизнанку. Такая же игра возможна с терминами «комму-

низм» и «фашизм» (нацизм). Их общая черта — стремление насильственно упростить общество, освободить человека от тяжести выбора, дать всему народу одну идею.

Редукционизм может маскироваться научной теорией (классовой или расовой борьбы), но по сути он глубоко иррационален. Торжество редукционизма всегда связано с господством страстей над разумом. Время от времени народы превращаются в панургово стадо и бросаются вслед за вождем, уверенным в своей миссии. Очередной вихрь таких движений начался в России, перебросился в Германию, в Китай и сейчас бушует в странах ислама. Он связан, по-видимому, со смутным сознанием, что мир созрел для объединения, но объединить его можно только силой. После создания атомной бомбы разум, вопреки опыту нескольких тысяч лет, вынужден был признать войну негодным средством большой политики. Это перечеркнуло идею мировой империи, созданной в борьбе классов, рас и религий. Но страсти продолжают бушевать, и попытки мирной интеграции наталкиваются на новые взрывы ненависти.

Мне кажется странным убеждение Фукуямы, что развал коммунистической утопии в России означает конец истории. Развитие по-прежнему несет в себе неизбежность кризисов. Духовный кризис переплелся с экологическим кризисом и ведет к культуре, возвысившей роль созерцания. Но к этому же ведет и само развитие производства. Важнейшим из дел становится дело, наиболее удаленное от непосредственного собирания и приготовления пищи. Сельское хозяйство отодвинуло в тень охоту и рыболовство, промышленность — сельское хозяйство, производство научной информации определяет сегодня характер промышленности. А эффективность научной мысли зависит от творческого состояния ученого; и если наша цивилизация сохранит равновесие, то главным делом будущего станет производство творческого состояния. Это означает выход за рамки фаустовской цивилизации в целом, означает новое, более глубокое понимание роли созерцания в культуре, новое возвышение Марии над Марфой, заботящейся о многом. Все эти проблемы остаются, как бы ни сложилась судьба России.

Отказ России от коммунистической империи остается, однако, великим событием. Союз северных стран, включая Россию, был бы достаточно сильным, чтобы сдерживать истерики диктаторских режимов. И очень важно — не только для России, чтобы наши реформы продолжались и дали ощутимые среднему человеку результаты. Это дело трудное и долгое. Пока что

мы лежим на операционном столе. Живот разрезан — и хирурги спорят, что делать дальше. Наркоз слабый, все ноет. Надо терпеть. Если встать — кишки вывалятся. Но становится невмоготу терпеть... Хватит ли у народа терпения? Хватит ли у Запада ума — помочь нам продержаться? Случай уникальный, и готовые шаблоны только сбивают с толку.

Допустим, через несколько лет удастся задержать и остановить экономический распад. Но от этого духовный кризис не исчезнет. Духовное состояние России напоминает падение в бездну. И я вспоминаю сказку Михаэля Энде о человеке, жившем в разваливающейся кукольной вселенной. Сквозь трещины в стене он видит закутанную фигуру, стоящую в пустоте, и закутанный зовет его: «Иди ко мне! Учись падать и держаться ни на чем!»

Кризис заставляет искать опору в самом себе и стать опорой для других. Только так — опираясь на внутреннюю крепость — могут быть восстановлены внешние устои. Если творческое меньшинство сложится, оно повлечет за собой других. Это движение невозможно создать по приказу, можно только помочь ему. И можно помешать.

Идеей или принципом российской политики должно стать достоинство личности, защита прав личности, защита от произвола администрации и буйства толпы. Только человек, уверенный в своем достоинстве, может стать добросовестным работником и создателем рациональной экономики. Эти соображения, сами по себе достаточные, можно подкрепить другими: в многонациональном государстве нельзя ставить на вершину иерархии ценностей народ, этнос. Племенные страсти рвут единство в клочки. Общей вершиной иерархии может быть только личность, с осознанным идеалом личности сильно развитой, сознающей глобальные интересы человечества как свои собственные. Перевес вселенского духа над национальными страстями, как это было у Сахарова, — неперемное условие победы здравого смысла в экономике и политике. Национальная озабоченность (или, как выразился мой коллега А.Зубов, этнопаранойя) не принесет ничего хорошего и в Эстонии, в России она толкает к катастрофе. Демократическое Российское государство возможно только как патрон национальных меньшинств — и у себя «дома», и в зарубежье, где меньшинством оказались русские. Опираясь на последовательную правовую защиту меньшинств в России, можно приобрести поддержку в ООН и помочь правовому прогрессу в бывшей русской Азии. Судьба России как великой державы — действовать в глобальных мас-

штабах, рассматривать глобальные интересы человечества как свои собственные и не противопоставлять национальное все-ленскому; напротив, национальное должно быть понято как особенная форма вселенской культуры, как участник вселенского диалога.

Единство логически разных принципов трудно дается интеллектуалам, воспитанным советской школой. Господствуют упрощенные модели в духе известных лозунгов: «техника решает все», «кадры решают все». Сейчас для многих умов «рынок решает все». Но на Западе иначе. Там — например, в Германии — «социальное рыночное хозяйство», т.е. «социалистический капитализм» или «капиталистический социализм», соединение в одном понятии противоположных терминов. И именно эта непростая модель хорошо работает.

Одна из ошибок нашей перестройки — недооценка культуры. На первых порах ее просто забросили. Но и сейчас внимание к культуре совершенно недостаточно. Цивилизованный рынок невозможен без известного типа культуры. Наука не может развиваться вне культуры. Без эстетической и этической культуры рухнет школа. Представление о том, что культура может подождать, нелепо: период реформ может растянуться на десятки лет. Культуру так же нельзя откладывать, как дыхание.

Одним из важнейших средств распространения культуры могут быть радио и телевидение. Сегодня они очень далеки от идеала. Во многих случаях голубой экран распространяет пошлую суету. Нужен не политический наблюдательный совет, а художественный совет — без права запрета, но с еженедельным часом эфирного времени для обсуждения удач и провалов. Участие в таком совете — долг мыслителей, ученых и писателей.

Дух веет, где хочет. Телевидение и радио могут стать тем, чем была сельская церковь в жизни старого села. Не помахивая кадиллом и не копируя церковь, но дав простор свободным веяниям высокого духа в искусстве, литературе, публицистике. Я надеюсь не на громкие политические битвы, а на тихие движения любви. Которые надо увидеть, записать — и послать как подарок в каждый дом.

Есть встречное движение; во всех больших городах сложились кучки людей, впитывающих мысли, родившиеся в тишине, стихи и музыку, несущие опыт насыщенного жизнью покоя. Только к нам двоим (ко мне и к Зинаиде Миркиной) приезжали из Челябинска, Новосибирска, Костромы, Нижнего Новгорода,

Ногинска, Харькова, Киева, Запорожья, Алма-Аты... Наш друг, писатель и режиссер Армен Зурабов рассказывал, что фильм «Песня песней» (средневековые стихи на фоне армянских гор) слушали в Сибири по десять раз подряд вместе с заснятым на видео вступительным словом, где объяснялся смысл такого искусства. Я решусь сказать, что аудитория гораздо шире, чем мы знаем, чем мы можем подтвердить разрозненными фактами. Но эта аудитория очень мало получает от центрального радио и телевидения. И очень много льется в эфир пошлости, особенно телевизионной. Не хватает сознательной установки на счастливое меньшинство, живущее внутренней жизнью и нашедшее в этой жизни силу противостоять хаосу.

Говорят об упадке духовной жизни; но что, собственно, упало? Упал интерес к запретным общим местам, очевидным всякому грамотному человеку. Их выкрикнули, на миг упились своей свободой — и почувствовали пустоту. Упал интерес к дыркам в официальном макете Истины: макет разорван сверху до низу, но то, что за ним, не радует. Упал вкус к духовному комфорту, к чтению умных и изысканных книг: некогда читать, досуг — только в метро, надо подсуетиться и заработать денег. Так живет большинство; и Бог с ним; оно никогда не выдумывало пороха. Но есть не только оно.

Для меньшинства — я не берусь оценить его количественно, но для какого-то меньшинства — хаос всегда был вызовом. Самое духовное создание китайского гения — буддизм дзэн — расцветал в эпохи хаоса, войны всех против всех, разрухи и голода. То же в Японии. Я думаю, это общий закон. Если бы Августин жил в эпоху величия Рима, он никогда не написал бы «О граде Божьем».

Вдруг пробуждается сознание, что ничего не решится без внутренней тишины, без успокоившегося духа. Только тогда в нас войдет и заговорит в нас, нашими устами, что-то большее, чем мы, что-то истиннее нас.

*Не действуй. Действуешь не ты.  
Косой дымок повис над крышей.  
Пространства чистые листы  
Лишь ждут, что луч на них напишет.  
Леса дремотные стоят...  
Кто быть простым стволом захочет,  
Чтобы на нем писал закат  
Пурпурный жар своих пророчеств?*

*З. Миркина*

Здесь нет нечего нового. Лаоцзы назвал это у-вэй — действие через бездействие. Такое же накопление силы было в византийской исихии, в безмолвии. Сейчас снова наступило время, когда надо намолчаться до великой силы. И когда мы намолчимся, сила придет.

1993

### Примечание

<sup>1</sup> Bellah R. Beyond belief. N.Y., 1970. Ср. также: Лобковиц Н. Христианство и культура. — «Вопросы философии», 1993, N 3, с.72: «Марксизм есть одно из порождений христианства».